

Литрес ≡ Классика

Антон Чехов

РАССКАЗ
НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА



АНТОН ЧЕХОВ

Рассказ неизвестного человека

«ЛитРес»

1893

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

Чехов А. П.

Рассказ неизвестного человека / А. П. Чехов — «ЛитРес», 1893

Бывший морской офицер, смертельно больной, поступает лакеем в дом богатого петербургского чиновника Орлова, чтобы выполнить тайное политическое поручение. Но наблюдение за хозяином и его окружением неожиданно оборачивается глубоким внутренним кризисом: когда в доме появляется несчастная молодая женщина, герой вынужден выбирать между долгом и человеческим состраданием. Это психологическая драма о том, как служение идее сталкивается с голосом совести, а чужая жизнь оказывается дороже абстрактной цели.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

© Чехов А. П., 1893
© ЛитРес, 1893

Содержание

I	5
II	8
III	9
IV	12
V	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Антон Павлович Чехов

Рассказ неизвестного человека

I



По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов. Было ему около тридцати пяти лет, и звали его Георгием Ивановичем.

К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца.

Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иванович сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удоволь-

ствия. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнувший свежими духами, он шел в столовую пить кофе. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унижительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов.

У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. Не знаю, под влиянием ли болезни или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что, собственно, мне нужно. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. Я – отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов.

Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург – не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, незлой насмешки. Перед тем как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. Но об этом после.

В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. Обедал он не дома и возвращался после восьми. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. Читал он с необыкновенною быстротой. Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания «Посредника», – и все он прочитывал одинаково быстро и все с тем же ироническим выражением глаз.

После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро.

Жили мы с ним тихо и мирно, и никаких недоразумений у нас не было. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, – очевидно, не считал меня человеком.

Только один раз я видел его сердитым. Однажды, – это было через неделю после того, как я поступил к нему, – он вернулся с какого-то обеда часов в девять, лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне:

– У нас в комнатах чем-то воняет.

– Нет, воздух чист, – ответил я.

– А я тебе говорю, что воняет, – повторил он раздраженно.

– Я каждый день отворяю форточки.

– Не рассуждай, болван! – крикнул он.

Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я.

– В самом деле, какой дурной запах! – сказала она, поднимая брови. – Откуда бы это? Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать.

– Черт их возьми! – пробормотал он. – Хотят, чтоб я имел чудовищную память!

Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне:

– Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Постой!.. В случае если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут.

Я поехал на Знаменскую. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. Она прищурила на меня глаза.

– Зинаида Федоровна дома? – спросил я.

– Это я, – сказала дама.

– Письмо от Георгия Иваныча.

Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные темные ресницы. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет.

– Кланяйтесь и благодарите, – сказала она, кончив читать. – Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? – спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия.

– Какие-то два господина, – ответил я. – Что-то пишут.

– Кланяйтесь и благодарите, – повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла.

Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов и мечтал. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II

Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладил с Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела, или, как говорится, дрыгала плечами и задом. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое.

Оттого ли, что я не воровал вместе с нею, или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. Моя неумелость, нелакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлял, и случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне:

– Ты опять не давал мне спать. В больнице тебе лежать, а не у господ жить.

Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.

Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил:

– Поля, вы в бога веруете?

– А то как же!

– Стало быть, вы веруете, – продолжал я, – что будет Страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок?

Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника.

В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к «ты» и к постоянному лганью (говорить «барина нет дома», когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова нелегко. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. Но потом привык. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости – тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер.

III

По четвергам у нас бывали гости.

Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. Покупал игральные карты. Поля уже с утра приготавливала чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. Глаза у него были большие, навывкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультом при каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. На людей смотрел он только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. Иного деления у него не существовало. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Наказания нужны только для устрашения. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. И так далее. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год.

Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несообразность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. Губы у него были сердечком и стриженные усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. Это был человек с манерами ящерицы. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, особенно летом, когда для него изобретали разные командировки. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, не уверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, кланяться, льстить, обещать. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людьми, льстил

Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: «Степан, ты женат?» – и затем следовали скабрзные пошлости – знак особого ко мне внимания. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудительных обществ и уже на замечании у полиции. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы.

Третий гость – Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. Мне припоминаются его длинные бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал, что скоро перейдет опять в судебное ведомство. К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Пруtkова: «Только на государственной службе познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощих детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. Жил он с семьей в долг, занимая где и у кого попало при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. Это была натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. Куда его вели, туда и шел. Вели его в какой-нибудь притон – он шел, ставили перед ним вино – пил, не ставили – не пил; бранили при нем жен – и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: «Я ее, бедную, очень люблю». Шубы у него не было, и носил он всегда плед, от которого пахло детской. Когда за ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоем тихо:

Что день грядущий мне готовит? —

но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля. Гости обыкновенно сходились к десяти часам. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. Тут только я мог как следует постигнуть всю сладость лакейства. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать, или, как говорил Орлов, подзакусить. За ужином разговоры. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. Говорили о религии – ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни – ирония, поднимал ли кто вопрос о народе – ирония. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во Французской академии. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: «не обманешь – не продашь». И все в таком роде, и все смешно.

От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: *На дела благотворительности* и другая – *На физиологические потребности*. Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки; она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицера», который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемого разврата, несомненно, преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов.

В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую к какой-то Варваре Осиповне, а я уходил к себе в лакейскую и долго не мог уснуть от головной боли и кашля.

IV

Недели через три после того, как я поступил к Орлову, помнится, в воскресенье утром, кто-то позвонил. Был одиннадцатый час, и Орлов еще спал. Я пошел отворить. Можете себе представить мое изумление: за дверью на площадке лестницы стояла дама с вуалью.

– Георгий Иванович встал? – спросила она.

И по голосу я узнал Зинаиду Федоровну, к которой я носил письма на Знаменскую. Не помню, успел ли и сумел ли я ответить ей, – я был смущен ее появлением. Да и не нужен ей был мой ответ. В одно мгновение она шмыгнула мимо меня и, наполнив переднюю ароматом своих духов, которые я до сих пор еще прекрасно помню, ушла в комнаты, и шаги ее затихли. По крайней мере с полчаса потом ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонил. На этот раз какая-то расфранченная девушка, по-видимому горничная из богатого дома, и наш швейцар, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

– Это Зинаиде Федоровне, – сказала девушка.

И ушла, не сказав больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговевшей перед барскими шалостями, хитрую усмешку; она как будто хотела сказать: «Вот какие мы!» – и все время ходила на цыпочках. Наконец, послышались шаги; Зинаида Федоровна быстро вошла в переднюю и, увидев меня в дверях моей лакейской, сказала:

– Степан, дайте Георгию Ивановичу одеться.

Когда я вошел к Орлову с платьем и сапогами, он сидел на кровати, свесив ноги на медвежий мех. Вся его фигура выражала смущение. Меня он не замечал и моим лакейским мнением не интересовался: очевидно, был смущен и конфузился перед самим собой, перед своим «внутренним оком». Одевался, умывался и потом возился он со щетками и гребенками молча и не спеша, как будто давая себе время обдумать свое положение и сообразить, и даже по спине его заметно было, что он смущен и недоволен собой.

Пили они кофе вдвоем. Зинаида Федоровна налила из кофейника себе и Орлову, потом поставила локти на стол и засмеялась.

– Мне все еще не верится, – сказала она. – Когда долго путешествуешь и потом приедешь в отель, то все еще не верится, что уже не надо ехать. Приятно легко вздохнуть.

С выражением девочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмеялась.

– Вы мне простите, – сказал Орлов, кивнув на газеты. – Читать за кофе – это моя непобедимая привычка. Но я умею делать два дела разом: и читать и слушать.

– Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при вас. Но отчего у вас постная физиономия? Вы всегда бываете таким по утрам или только сегодня? Вы не рады?

– Напротив. Но я, признаюсь, немножко ошеломлен.

– Отчего? Вы имели время приготовиться к моему нашествию. Я каждый день угрожала вам.

– Да, но я не ожидал, что вы приведете вашу угрозу в исполнение именно сегодня.

– И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой друг. Вырвать больной зуб сразу и – конец.

– Да, конечно.

– Ах, милый мой! – сказала она, зажмуривая глаза. – Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чем кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смеюсь; я рада, счастлива, но мне плакать хочется больше, чем смеяться. Вчера я выдержала целую баталию, – продолжала она по-французски. – Только один бог знает, как мне было тяжело. Но я смеюсь, потому что мне не верится. Мне кажется, что сижу я с вами и пью кофе не наяву, а во сне.

Затем она, продолжая говорить по-французски, рассказала, как вчера разошлась с мужем, и ее глаза то наполнялись слезами, то смеялись и с восхищением смотрели на Орлова. Она рассказала, что муж давно уже подозревал ее, но избегал объяснений; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно в самый разгар их он внезапно умолкал и уходил к себе в кабинет, чтобы вдруг в запальчивости не высказать своих подозрений и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Федоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый, серьезный шаг и от этого с каждым днем все сильнее ненавидела себя и мужа и мучилась, как в аду. Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: «Когда же все это кончится, боже мой?» – и ушел к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил ее в кабинет, и она высказала ему все и призналась, что любит другого, что этот другой ее настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в нее стреляли из пушек.

– В вас сильно бьется романтическая жилка, – перебил ее Орлов, не отрывая глаз от газеты.

Она засмеялась и продолжала рассказывать, не дотрагиваясь до своего кофе. Щеки ее разгорелись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Полю. Из ее дальнейшего рассказа я узнал, что муж ответил ей попреками, угрозами и в конце концов слезами, и вернее было бы сказать, что не она, а он выдержал баталию.

– Да, мой друг, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, – рассказывала она, – но как только наступила ночь, я пала духом. Вы, Жорж, не верите в бога, а я немножко верую и боюсь возмездия. Бог требует от нас терпения, великодушия, самопожертвования, а я вот отказываюсь терпеть и хочу устроить жизнь на свой лад. Хорошо ли это? А вдруг это, с точки зрения бога, нехорошо? В два часа ночи муж вошел ко мне и говорит: «Вы не посмеете уйти. Я вытребую вас со скандалом, через полицию». А немного погодя, гляжу, он опять в дверях, как тень. «Пощадите меня. Ваше бегство может повредить мне по службе». Эти слова подействовали на меня грубо, я точно заржавела от них, подумала, что это уже начинается возмездие, и стала дрожать от страха и плакать. Мне казалось, что на меня обвалится потолок, что меня сейчас поведут в полицию, что вы меня разлюбите, – одним словом, бог знает что! Уйду, думаю, в монастырь или куда-нибудь в сиделки, откажусь от счастья, но тут вспоминаю, что вы меня любите и что я не вправе распоряжаться собой без вашего ведома, и все у меня в голове начинает путаться, и я в отчаянии, не знаю, что думать и делать. Но взошло солнышко, и я опять повеселела. Дождалась утра и прикатила к вам. Ах, как замучилась, милый мой! Подряд две ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотелось в одно и то же время и спать, и без конца говорить, и смеяться, и плакать, и ехать в ресторан завтракать, чтобы почувствовать себя на свободе.

– У тебя уютная квартира, но, боюсь, для двоих она будет мала, – говорила она после кофе, быстро обходя все комнаты. – Какую ты дашь мне комнату? Мне нравится вот эта, потому что она рядом с твоим кабинетом.

Во втором часу она переделалась в комнате рядом с кабинетом, которую стала после этого называть своею, и уехала с Орловым завтракать. Обедали они тоже в ресторане, а в длинный промежуток между завтраком и обедом ездили по магазинам. Я до позднего вечера отворял приказчикам и посыльным из магазинов и принимал от них разные покупки. Привезли, между прочим, великолепное трюмо, туалет, кровать и роскошный чайный сервиз, который был нам не нужен. Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поставили рядком на полке в нашей пустой холодной кухне. Когда мы разворачивали чайный сервиз, то у Поли разгорелись глаза, и она раза три взглянула на меня с ненавистью и со страхом, что, быть может, не она, а я первый украду одну из этих грациозных чашечек. Привезли дамский письменный

стол, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Федоровна имела намерение засесть у нас крепко, по-хозяйски.

Вернулась она с Орловым часу в десятом. Полная горделивого сознания, что ею совершено что-то смелое и необыкновенное, страстно любящая и, как казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крепкий и счастливый сон, Зинаида Федоровна упивалась новой жизнью. От избытка счастья она крепко сжимала себе руки, уверяла, что все прекрасно, и клялась, что будет любить вечно, и эти клятвы и наивная, почти детская уверенность, что ее тоже крепко любят и будут любить вечно, молодили ее лет на пять. Она говорила милый вздор и смеялась над собой.

– Нет выше блага, как свобода! – говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. – Ведь какая, подумаешь, нелепость! Мы не даем никакой цены своему собственному мнению, даже если оно умно, но дрожим перед мнением разных глупцов. Я боялась чужого мнения до последней минуты, но, как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья.

Но тотчас же порядок мыслей у нее обрывался, и она говорила о новой квартире, об обоях, лошадях, о путешествии в Швейцарию и Италию. Орлов же был утомлен поездкой по ресторанам и магазинам и продолжал испытывать то смущение перед самим собой, какое я заметил у него утром. Он улыбался, но больше из вежливости, чем от удовольствия, и когда она говорила о чем-нибудь серьезно, то он иронически соглашался: «О да!»

– Степан, найдите поскорее хорошего повара, – обратилась она ко мне.

– Не следует торопиться с кухней, – сказал Орлов, холодно поглядев на меня. – Надо сначала перебраться на новую квартиру.

Он никогда не держал у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, как выражался, не любил «заводить у себя нечистоту», и меня и Полю терпел в своей квартире только по необходимости. Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дразгами оскорблял его вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей и говорить о них – это дурной тон, мещанство. И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа – она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего – ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...

V

Затем я расскажу вам, что происходило в ближайший четверг. В этот день Орлов и Зинаида Федоровна обедали у Контана или Донона. Вернулся домой только один Орлов, а Зинаида Федоровна уехала, как я узнал потом, на Петербургскую сторону к своей старой гувернантке, чтобы переждать у нее время, пока у нас будут гости. Орлову не хотелось показывать ее своим приятелям. Это понял я утром за кофе, когда он стал уверять ее, что ради ее спокойствия необходимо отменить четверг.

Гости, как обыкновенно, прибыли почти в одно время.

– И барыня дома? – спросил у меня шепотом Кукушкин.

– Никак нет, – ответил я.

Он вошел с хитрыми, масляными глазами, таинственно улыбаясь и потирая с мороза руки.

– Честь имею поздравить, – сказал он Орлову, дрожа всем телом от льстивого, угодливого смеха. – Желаю вам плодиться и размножаться, аки кедры ливанские.

Гости отправились в спальню и поострили там насчет женских туфель, ковра между обеими постелями и серой блузы, которая висела на спинке кровати. Им было весело оттого, что упрямец, презиравший в любви все обыкновенное, попался вдруг в женские сети так просто и обыкновенно.

– Чему посмеяхомся, тому же и послужиша, – несколько раз повторил Кукушкин, имевший, кстати сказать, неприятную претензию щеголять церковнославянскими текстами. – Тише! – зашептал он, поднося палец к губам, когда из спальни перешли в комнату рядом с кабинетом. – Тссс! Здесь Маргарита мечтает о своем Фаусте.

И покатился со смеху, как будто сказал что-то ужасно смешное. Я вглядывался в Грузина, ожидая, что его музыкальная душа не выдержит этого смеха, но я ошибся. Его доброе художавое лицо сияло от удовольствия. Когда сели играть в карты, он, картавя и захлебываясь от смеха, говорил, что Жоржиньке для полноты семейного счастья остается теперь только завести черешневый чубук и гитару. Пекарский солидно посмеивался, но по его сосредоточенному выражению видно было, что новая любовная история Орлова была ему неприятна. Он не понимал, что, собственно, произошло.

– Но как же муж? – спросил он с недоумением, когда уже сыграли три робера.

– Не знаю, – ответил Орлов.

Пекарский расчесал пальцами свою большую бороду и задумался и молчал потом до самого ужина. Когда сели ужинать, он сказал медленно, растягивая каждое слово:

– Вообще, извини, я вас обоих не понимаю. Вы могли влюбиться друг в друга и нарушать седьмую заповедь сколько угодно – это я понимаю. Да, это мне понятно. Но зачем посвящать в свои тайны мужа? Разве это нужно?

– А разве это не все равно?

– Гм... – задумался Пекарский. – Так вот что я тебе скажу, друг мой любезный, – продолжал он с видимым напряжением мысли, – если я когда-нибудь женюсь во второй раз и тебе вздумается наставить мне рога, то делай это так, чтобы я не заметил. Гораздо честнее обманывать человека, чем портить ему порядок жизни и репутацию. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но с этим... как это называется?... с этим романтизмом согласиться я не могу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.